

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Б.И. Пружинин
Институт философии РАН

Аннотация: Автор статьи предпринимает попытку прояснить особенности взглядов поколения философов-шестидесятников, опираясь на свой личный опыт. По мнению автора, в основе мировоззренческих и личностных особенностей этого поколения лежит переживание и осмысление событий отечественной истории 1950-х годов, связанных с разоблачением культа личности Сталина, и феноменом оттепели. Эти события позволили поколению шестидесятников сформировать мировосприятие, основанное на переосмыслении своих взглядов, прежде всего – духовную самостоятельность.

Ключевые слова: шестидесятники, философское поколение, мировоззрение, культ личности, личная ответственность, общение.

Я окончил аспирантуру философского факультета МГУ и начал работать в Институте философии в 1973 году. Так что формально, т. е. по возрасту, я принадлежу к философскому поколению, формирование которого как именно философского началось со второй половины 70-х, а четкие контуры этого поколения определились ко второй половине 80-х, в ходе перестройки. Но мне ближе поколение шестидесятников – ближе по взглядам на реальность и, что самое главное, по мироощущению. Я чувствую себя шестидесятником, ибо стараюсь «держать дистанцию» и по отношению к себе, и по отношению к окружающей реальности на тех же экзистенциальных основаниях, что и они. А глубинная мотивация такого рода дистанцирования, точнее, его экзистенциальные характеристики как раз и являются, на мой взгляд, важнейшим идентифицирующим признаком поколений – философских прежде всего. Собственно, об этом, о том, как шестидесятники формировали, сохраняли и сохраняют сегодня характерные черты своей исторической идентичности (мне очень хочется сказать «мы сохраняем»), я и попытаюсь рассказать ниже, опираясь, естественно, на свой личный опыт и на опыт общения со многими из них. Добавлю: даже если я буду в чем-то неправ, надеюсь, и не прав буду как шестидесятник.

Поколенческая самоидентификация, вообще говоря, – дело личного выбора. Но сами поколения (в социально-историческом и идейном смысле этого понятия) формируются некоторой общей событийной реальностью – иногда повседневной негромкой, иногда весьма громкой, но, так или иначе, исторически конкретной и, в любом случае, экзистенциально значимой, лично пережитой людьми этого поколения. Из общности таких, заданных реальностью переживаний, собственно, и складывается поколение как историческая общность. Так что для любого поколения всегда можно указать на реальность, переживание которой

как со-бытия определило его глубинные ориентации – его интеллектуальные и экзистенциальные горизонты (или, как начали у нас говорить с 70-х – менталитет). Кому-то выпадает революция, кому-то война, кому-то «застой», а кому-то «перестройка». В случае же иного употребления термина «поколение» мы имеем дело просто с генерацией, принадлежность к которой как раз и определяется биоданными.

Для шестидесятников реальностью, которая определила общие черты этого поколения, была так называемая оттепель – «разоблачение культа личности Сталина» и, как результат этого «разоблачения», некоторая идеологическая растерянность властных структур. Растерянность этих структур позволяла тогда гражданам осмысливать и переживать случившееся более или менее самостоятельно. Можно даже сказать, что «оттепель» была событием весьма масштабным для страны и, фактически, принуждала граждан переживать случившееся самостоятельно, хотя конечно же в меру интеллектуального потенциала и смелости каждого. Дело в том, что растерянность, вызванная разоблачениями «культа», насколько я помню из своего личного и конечно же более позднего общения, затронула тогда практически все социальные группы страны, а отнюдь не только властные структуры. Не то чтобы поголовно все граждане преданно любили Иосифа Виссарионовича, но при нем была стабильная система, к которой люди, так или иначе, приспособлялись. Так что, когда Сталина не стало (мне тогда было лишь 8 лет, но событие-то было яркое, я отчетливо помню все подробности – моя сестра чуть не погибла на его похоронах), самым ходовым вопросом наших соседей по коммунальной квартире (9 семей очень разного социального статуса) был: «Что же с нами теперь будет?» А последовавшее всего через несколько лет разоблачение «культа» заставило задуматься ещё и о том, «что же с нами было?» – о чем думать, тем более критически, прежде не следовало (по разным соображениям – от безопасности до сохранения внутреннего спокойствия).

Большинство граждан страны представившейся возможностью помыслить, естественно, постарались не пользоваться – жить стало безопаснее, а оценка прошлого и перспективы – «не нашего ума дело». Но люди, склонные в силу столь же естественных причин к размышлениям (как говорил шестидесятник Владимир Петрович Зинченко: человек, который хоть раз помыслил самостоятельно, остановиться просто не может), уже и не могли не воспользоваться открывшейся возможностью осмыслить не только происходящее на их глазах, но и происходившее в стране прежде. И, что в данном случае особенно важно, не могли не осмыслить себя в этом самом, тогда ещё недавнем, прошлом. Речь ведь шла о важном аспекте собственного Я людей, живших в условиях этого самого «культа», т. е. так или иначе причастных к нему и, стало быть, несущих за него ответственность, прежде всего перед собой, и воспринимавших его разоблачение как личную экзистенциальную и интеллектуальную проблему.

Можно было, конечно, строить из себя очень проницательных и «много раньше» все в себе «разоблачивших», но проблема-то от этого не снималась, а скорее даже усугублялась. В 1956 году (XX съезд КПСС) мне было 12 лет. Но, слушая, как это событие эмоционально обсуждали (в моем присутствии) мой отец и старший брат, окончивший философский факультет в 1954-м, я приобщался к тому, что переживали тогда они. Разговоры на эту тему вели при мне и приходившие к нам сокурсники моего брата. Среди них были, кстати, ставшие позднее известными в философском сообществе П. Рогачев, Л. Скворцов, Маирбек Хадиков... И я думаю, именно в такого рода переживаниях и размышлениях об этом событии формировалось мироощущение той части сообщества философов, к которому я смог приобщиться через несколько лет, уже в качестве студента философского факультета МГУ. А возраст здесь не столь уж важен. В это поколение входили и 40-летние (многие из которых воевали – А. Зиновьев, Э. Ильенков, В. Келле), и те, кто в 1954–1960 годах были выпускниками

философского факультета – Б. Грязнов, Е. Никитин, Н. Трубников, Нелли и Володя Мудрагеи, Вадим Межуев, ну, и мой круг, близкий по возрасту, учившийся в начале 60-х годов. (Прошу меня простить, но, по понятным причинам, я называю в этом, так сказать, поколенческом списке имена лишь уже ушедших людей, и то далеко не всех.)

Конечно же, общественно-политические потрясения середины пятидесятых затронули каждого из них по-своему и с разной интенсивностью – в зависимости и от личного возрастного опыта, и от условий жизни, и от непосредственного окружения и пр., и пр. Но в их философской реакции на эти события выкристаллизовывалось и нечто общее, что я и считаю важнейшей особенностью философского шестидесятничества (да и всего гуманитарного поколения шестидесятников). Это было сознание причастности к тому, что происходило в годы, предшествовавшие разоблачению «культа», и настоятельная внутренняя потребность критически осмыслить и тем самым преодолеть своё прошлое «бытие и сознание», критически преодолеть в себе прошлое и, с этой точки зрения, философски осмысливать наличную реальность.

Это была внутренняя потребность в новой переосмысленной (отрефлектированной) самоидентификации, вызванная жёсткими внешними обстоятельствами. Эффект её – поколение, которому мы обязаны фактическим восстановлением отечественной философии именно как философии.

Я до сих пор помню, как из переживания домашних бесед на темы недавнего прошлого у меня, подростка, рождалось тревожащее ощущение причастности к прошлой, «досъездовской», во многом «неправильной» жизни. Как позднее, уже в студенческие годы возникало желание разобраться, понять и переосмыслить свои тогдашние представления о мире. Конечно, все эти ощущения и желания были тогда у меня именно ощущениями и желаниями, но ощущениями острыми, затрагивающими моё я. Так формировалось моё личное самосознание. Но я думаю, что нечто подобное, так или иначе, переживали все шестидесятники. И я полагаю, что именно внутренняя, личная причастность негативным аспектам прошлого, порождающая стремление осмыслить его в себе и не позволять больше манипулировать собой, придавала оригинальность и самостоятельность философским поискам шестидесятников. Их личный, экзистенциально окрашенный уникальный опыт критического самоосознания жёстко вводил оценку самостоятельности в их профессиональную работу и позволял сознательно противостоять попыткам навязать им идеологически приукрашенные философские убеждения. А ведь личная духовная самостоятельность и есть изначальное условие действительно философских поисков смысла жизни, смысла бытия.

К прошлому шестидесятники обращались, чтобы не дать обмануть прежде всего самих себя. И эта экзистенциально окрашенная установка создавала «дистанцию» по отношению к окружающей реальности (кстати, по-настоящему «социальную»). Она ложилась в основание осмысленной «остранённости», которая, собственно, и придавала философичность, оригинальность и глубину размышлениям шестидесятников о мире, о познании, об обществе. Позднее, работая в Институте философии в 70–80-е годы, я имел возможность наблюдать, как эта внутренняя ответственность за собственное прошлое, заставлявшая шестидесятников возвращаться к нему и критически переосмысливать его идейное наполнение, реализовывалась в их философских работах. Конечно же, реализовывалась у каждого очень по-разному и на разном идейном материале. Внутри вполне современной тогда социально-политической тематики она проступала в форме прямой критики этого прошлого, а в контексте исследований научного познания – в виде деидеологизации тогдашних гносеологических установок. У шестидесятников старшей возрастной группы эти особенности их философских поисков представляли тогда очевидным образом. Скажем, в творчестве Э.В. Ильенкова они представляли в виде обращения к ранним рукописям Маркса, что воплощалось в критическом пере-

осмыслении диалектической логики. У А.А. Зиновьева эта глубинная потребность критически осмыслить прошлое представала в его сложных идейных траекториях – он тоже сначала попытался разработать новый вариант диалектической логики, потом несколько раз демонстративно менял сферы интересов и, в конце концов, вновь вернулся к критическому переосмыслению коммунистической доктрины. В работах В.Ж. Келле, а позднее В.М. Межуева эта, по сути, экзистенциальная установка последовательно развёртывалась в попытках акцентировать научные элементы исторического материализма, причём вопреки откровенному идеологическому давлению.

Что же касается нас, так сказать, поздних шестидесятников, то установка, возвращавшая нас к прошлому при разработке вполне современной проблематики, проступала (и проступает до сих пор), прежде всего, в стремлении предельно деидеологизировать то, что мы пытаемся делать в философии. Замечу, я отдаю себе отчёт в том, что элемент идеологичности неизбежен в любых философских размышлениях, в том числе и демонстративно идеологических, но живущий во мне комплекс социальной вины за мою прошлую «наивность» заставляет меня целенаправленно выявлять и критически осмысливать элементы даже самых гуманистических идеологий. И ещё напомним. Я пишу о себе и о том, как я понимаю людей, олицетворяющих для меня поколение шестидесятников. Возможно, некоторые из них усомнятся в моей реконструкции, построенной на комплексе социальной вины и личного самоочищения. Ну, что же. Я так вижу шестидесятничество. И для этого у меня есть некоторые основания.

В философию меня привёл мой старший брат Семен. Он пытался сделать коммунистическую идеологию научной. Я с интересом наблюдал за этими попытками, но выбрал я для себя (прекрасно отдавая себе отчёт, почему я это сделал) специализацию – философские проблемы биологии. Однако шестидесятническое самосознание и в этой области вновь и вновь ориентировало меня. Я и сегодня помню юбилейные чествования одного из профессоров биофака, который вместо ответной речи почти час читал список репрессированных биологов. После чего я занялся изучением материалов сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Я хотел понять истоки лысенковщины (к которой меня приучали на уроках биологии в школе). Личная ответственность за прошлое перед собой стимулировала моё желание осмысливать окружающую меня реальность общественной жизни через её соотнесение с прошлым страны и той сферы деятельности, которую я выбирал.

Ведь разоблаченный «культ» коснулся и моей семьи. Я и сегодня в подробностях помню, как я однажды (по случаю) узнал о муже моей тётки, который приехал из Америки строить социализм и пропал в ГУЛАГе, о дяде, прошедшем через «ежовщину» и лишившемся из-за пыток ноги, о деле врачей (в родне были врачи, кстати, воевавшие)... А когда я в 15 лет стал работать на заводе, мой старший «коллега» по фрезерному станку рассказывал мне, как он в 13 лет попал в ГУЛАГ и провёл там годы. И все эти свидетельства, повторю, я впитывал на фоне эмоциональных комментариев рассказчиков о той жизни, к которой я ведь тоже был причастен, пусть и не долго, но вполне благополучно. Для меня было важно понять, как они все это понимали. На одном из семинаров, кажется, курсе на четвертом, я умудрился вынести на обсуждение вопрос: чем отличалась нацистская идеология от коммунистической. Тогда до ответа мы не дорассуждались. Отличия эти, принципиальные кстати, прояснил для меня много лет спустя шестидесятник Г.С. Померанц и тем самым внёс деидеологизирующую дистанцию в мои взгляды. Он обратил моё внимание на то, что мечта людей об устройстве общества, где все счастливы и в социальном и в материальном плане, неискоренима во все времена и при любом устройстве общества. Причём само присутствие этой мечты об Утопии в жизни общества реально «смягчает» эту жизнь, заставляя власть хоть как-то считаться с потребностями людей. Однако при том условии «смягчает», когда

благополучие подданных Утопии не строится на костях тех, кто по расовым, конфессиональным или каким другим аналогичным соображениям благополучия лишается. Я не хочу здесь углубляться в концептуальные различия и исторические судьбы национал-социалистической и просто социалистической идеи, но то, что в их основании лежат весьма различные утопии, я тогда понял.

В детстве я слушал военные рассказы моего двоюродного брата, боевые ордена которого я с восхищением и завистью тогда рассматривал. Желание разобраться, понять и преодолеть в себе, в своём сознании и своих философских опытах прошлое, перерастало в желание сохранить своё я, свою профессиональную идентичность, свою самостоятельность в понимании реальности. И я стремился трансформировать социальную вину за мою причастность негативному в объективность видения настоящего. Этому я учился у старших шестидесятников. Учился превращать идеологию в предмет размышлений, а не почитания, поношения или веры. Такое умение дистанцироваться необходимо, кстати, всем гуманитариям-ученым, если они не хотят превращаться в идеологов различной ориентации.

Я думаю, нечто подобное моим переживаниям и создало философское поколение шестидесятников. Их выстраданная самостоятельность перерастала в интеллектуальную дистанцию по отношению к окружающей реальности. И эта дистанция позволяла им анализировать текущие процессы хоть в какой-то мере объективно – рефлексивно оценить свой взгляд и удерживать его вопреки всяким веяниям. Впрочем, замечу, дистанция между объектом и исследователем может возникать и по другим причинам. Я же говорю о «дистанцировании» шестидесятников. Их специфику создаёт присутствие личной, навеянной преодолением в себе прошлого, ответственностью в осмыслении реальности. Позднее 1970-е, а особенно перестроечные годы сделали эту «дистанцию» как бы само собой разумеющейся позицией, что «позволило» перестроечному поколению легко, без экзистенциального напряжения вписываться в актуальные философские тренды. В результате в современном отечественном философском сообществе резко возрос аналитический философский профессионализм. Между прочим, история философии учит – прорваться к смыслу реальности невозможно без экзистенциально мотивированного желания.

Мне представляется, именно в личной экзистенциальной напряжённости шестидесятников причина того, что это поколение философов позволяет нам и сегодня не стыдиться русской философии советского периода. Я просто перечислю некоторые имена близких мне, но уже ушедших философов, помимо тех, о ком я уже говорил, – Лев Борисович Баженов, Мераб Константинович Мамардашвили, Регина Семеновна Карпинская, Владимир Иванович Смирнов, Вячеслав Семенович Стёпин, Сергей Сергеевич Хоружий, Владимир Сергеевич Швырев. Взгляды этих людей формировались в шестидесятых.

И ещё одну поколенческую тему я хочу затронуть – тему личного в профессиональном философском общении шестидесятников. Я уже писал об этом, когда вспоминал на страницах «Вопросов философии» о своей работе в секторе теории познания. Я очень хорошо помню своё впечатление от заседания сектора, на котором я впервые присутствовал. Заседание вёл Владислав Александрович Лекторский. Тему обсуждения не помню, но стиль профессионального общения меня просто поразил. Конечно, я и прежде бывал на коллективных обсуждениях, но в данном случае я видел нечто непривычное. Очень разные по своему темпераменту люди, придерживающиеся зачастую прямо противоположных взглядов на предмет обсуждения и тем более на перспективы его концептуального осмысления, вникали в суть дискуссии вместе. Подчёркиваю – не корректно обменивались мнениями о предмете дискуссии, но именно вникали вместе. Их волновал прежде всего философский смысл обсуждаемой проблемы, и потому её противоположные трактовки воспринимались как необходимое условие для осмысления сути дела. При этом наличие иного, даже противоположного взгляда

воспринималось каждым участником обсуждения как условие совершенствования собственного понимания. Я увидел подлинную коллаборацию.

Конечно, я далеко не сразу тогда понял, что именно такого рода совместность размышления, именно «разговор» является условием превращения абстрактного теоретического спора в плодотворную философскую дискуссию. Поначалу я даже не мог понять, каким образом доводы Швырева и Ильенкова, Трубникова и Батищева на моих глазах образуют некоторое единое смысловое поле, в котором каждый из них находил собственную смысловую реальность и где личные претензии на владение истиной отступали на фоне желания понять нечто очень важное. При этом обсуждения бывали достаточно жёсткими. Но тот внутренний опыт переосмысления себя, характерный для шестидесятников, позволял сохранять дистанцию, о которой я говорил выше, и по отношению к себе, и по отношению к оппонентам, и по отношению к предмету разговора. Так совместными усилиями отыскивались очень важные вопросы, значимость которых превалирует над личными амбициями. Причём вопросы эти относились и к профессиональной работе, и к личной гражданской позиции шестидесятников.

Конечно, был и ещё один фактор, способствовавший совместной, основанной на взаимопонимании, работе. Достаточно жёсткая официальная атмосфера, установившаяся уже к концу 60-х, заставляла быть весьма внимательными в оценках отличных взглядов и выборе тех, с кем можно было всерьёз обсуждать волнующие вопросы. Конечно же, тогда установился уже далеко не репрессивный режим, но административное давление было вполне ощутимым. (Я присутствовал на собрании философского факультета МГУ, где демонстративно отстраняли от преподавания Пиаму Павловну Гайденко, позднее я был в курсе того, как разгоняли отдел В.Ж. Келле, и, естественно, я в деталях знал о об административных шагах, направленных на разгон сектора теории познания.) Но вместе с тем такая атмосфера заставляла хорошо обдумывать сказанное в дискуссиях и корректно формулировать профессиональные оценки взглядов коллег. Я, конечно, мог прямо брякнуть Льву Баженову, что он позитивист и крайний сциентист (с чем он, кстати, с гордостью соглашался), но происходило это в дискуссиях, возникавших на берегах бурных рек уральского приполярья.

На самом деле взгляды Баженова были куда сложнее и интереснее, чем уходящий тогда позитивизм и идеологизированный сциентизм (как, впрочем, и антисциентизм). Но, во всяком случае, заявить такое в публикации или на официальном мероприятии мне и в голову не приходило. Наверное, это в чем-то мешало профессиональной работе философского сообщества и сказывалось на внятности публикаций. Я, к примеру, с завистью читал жёсткие дискуссии, которые в то время разворачивались в «западной» философии науки. Но не столь давняя история отечественной философии кое-чему учила поколение шестидесятников. И, между прочим, позволяла критически обсуждать зарубежную философию, сохраняя при этом дистанцию, т. е. не растворяться в ней бесследно, не терять собственный взгляд и связь с отечественными философскими традициями. Стилистика «дискуссий» 20–50-х годов и их рецидивы в 60–70-е вызывали отвращение. Что же касается дискуссий внутри сообщества, то шестидесятники хорошо понимали, с кем можно обсуждать волнующие интересные сюжеты, а с кем – ни в коем случае.

Я думаю, что и в контексте общения решающую роль в философской деятельности шестидесятников играла их собственная личностная составляющая, личный опыт самоидентификации. Исследователи, весьма основательно продумывающие собственные философские позиции, видели цель интеллектуальной работы отнюдь не в том, чтобы утвердиться. Их целью был поиск фундаментальных смысложизненных вопросов, позволяющих видеть мир таким, какой он есть, и не позволявших заостенеть собственной индивидуальности. Этого заостенения они боялись более всего. И потому шестидесятники считали нужным обязательно поделиться только что найденной, ещё не до конца определившейся мыслью и демонстри-

ровали готовность услышать суждения других ищущих людей – услышать их в дискуссиях, в разговорах, в свободном общении (скажем, на лестничной клетке пятого этажа института, где дозволялось курить). Вообще же формы общения философов моего поколения были очень разными, но в любом случае вся профессиональная философская работа над волнующими сюжетами шла в непрерывном личном общении – от заседаний сектора (вполне официальных, с обязательным протоколированием сказанного) до вольных разговоров в «Стекляшке».

Здесь я позволю себе одно небольшое, поясняющее для нынешних читателей этих поколенческих рассуждений, отступление. Напротив Института философии, на другой стороне Волхонки находилось кафе, которое мы ласково называли «Стекляшка». Вот там наше общение бывало весьма личным. Туда приходили и остро (не без стимулирующего воздействия спиртного) дискутировали по поводу весьма актуальных проблем сотрудники академических институтов – философии, экономики, русского языка. Но и здесь, повторю, шестидесятники были аккуратными в своих дискуссиях. Что касается близкого личного общения, то я был принят в компанию, которую описала Нелли Мудрагей [Мудрагей 2014: 443-450]. Она называла нашу компанию «карассом» – Трубников, Никитин, Нелли и Володя Мудрагей. До эмиграции в наш «карасс» входил Б. Дынин. Интересы и позиции философские наши были очень разные, но наше общение было внутренней потребностью, у которой было и очень важное профессиональное измерение. На сей день из нашего шестидесятнического карасса остались только мы с Борисом Дыниным.

Я до сих пор помню яркие эпизоды разговоров, возникавших на звенигородских конференциях. Помню атмосферу общения. Приезжали А.Ф. Зотов, Б.С. Грязнов, Л.М. Косарева, М.К. Мамардашвили, С.Б. Крымский, Н.И. Кузнецова, М.А. Розов и др. Участвовали аспиранты из других секторов института, участвовали сотрудники ИИЕТА. Это был разговор очень разных людей, стремящихся осмыслить реальность познания. И именно это стремление образовывало поле их общих дискуссий – проблемное поле философской теории познания. Слушали друг друга, чтобы спорить, и спорили, чтобы понимать друг друга. Концептуально-техническая, так сказать, сторона разработки соответствующей проблематики, которую каждый представлял по-своему, не заслоняла общую смысловую заданность совместной деятельности. А сколько «круглых столов» по самым дискуссионным проблемам современности проходили в «Вопросах философии» в конце 60-х – первой половине 70-х!

Шестидесятники не боялись, что у них «украдут» высказанную мысль. Опыт личного становления убеждал их в том, что сделать «украденную», чужую мысль основой дальнейшего философского движения невозможно. Только тогда возникает движущий мысль интерес, о котором писал Я.Э. Голосовкер (я рискну отнести его тоже к шестидесятникам): «“Интересное” как диалектически интересное: т. е. интересное, в котором заключено и моё влечение, и самый предмет (объективно интересное), и моё отношение к предмету (субъективно интересное), и всё вместе взятое как единство, как одно целое: это и есть... монотриада интересного» [Голосовкер 2010: 213].

Современное науковедение, кажется, ставит это убеждение под сомнение. Но тогда шестидесятникам было очевидно: мысль живёт только в личности, её порождающей, и усвоить эту мысль можно, лишь общаясь с этой личностью. Причём сказанное относится не только к присутствующим личностям. Приведу цитату человека, который точно стал бы шестидесятником. Выдающийся математик, основатель Московской математической школы Н.Н. Лузин писал:

Когда я, сибиряк из города Томска, впервые попал в недра большой школы, у меня создалось странное ощущение. О носителях прославленных имён говорили в таком тоне, как

будто бы к ним можно было пойти на чашку чая, хотя уже столетие или два столетия, как они умерли. Их идеи, их образы, их манера мыслить буквально висели в воздухе, и для меня само время стало исчезать. Я переставал порою понимать, идёт ли речь о лице, который ещё читает лекции, или он, человек блестящих имён, давно отошёл. Грань времени стёрлась, и я, через посредство живых, вступил в столь же живое общение с отошедшими [Письмо-исповедь...2003: 404].

Так общались и философские шестидесятники, которых я знал. И мне представляется, что сегодня важно подчеркнуть именно эту сторону их работы. В условиях, когда темпы и масштабы философской деятельности приобретают характер поточного производства, важно вспомнить и акцентировать именно эту ориентированность шестидесятников на личное общение.

Голосовкер Я.Э. 2010. *Избранное. Логика мифа*. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив.

Достоинство знания... 2016. Достоинство знания как проблема современной эпистемологии. Материалы круглого стола / Т.Г. Щедрина, Н.С. Автономова, В.А. Лекторский, Л.А. Микешина, И.Н. Грифцова, Г.Б. Сорина, В.Н. Князева, В.А. Бажанов, П.А. Ольхов, В.Н. Порус, В.Л. Махлин, И.Т. Касавин, В.П. Филатов. – *Вопросы философии*. – № 8. – С. 20–56.

Культурно-историческое сознание... 2015. Культурно-историческое сознание ученых-гуманитариев в контексте современных тенденций в науке: опыт федеральных университетов. Материалы круглого стола – онлайн-конференции. – *Вопросы философии*. – № 11. – С. 5–37.

Методологические проблемы... 2016. Методологические проблемы публикации философских текстов. Материалы круглого стола / Н.С. Автономова, В.В. Янцен, Е.В. Пастернак и др. – *Вопросы философии*. – № 3. – С. 5–50.

Мудрагей Н.С. 2014. *Membra sumus corporis, или Наш карасс по Воннегуту*. – *Культурно-историческая эпистемология: проблемы и перспективы. К 70-летию Бориса Исаевича Пружинина* / Отв. ред.-сост. Н.С. Автономова, Т.Г. Щедрина. – М.: Политическая энциклопедия. – С. 443–450.

Письмо-исповедь... 2003. Письмо-исповедь академика Николая Николаевича Лузина. – *Русская наука в биографических очерках*. – СПб.

Пружинин Б.И. 2014а. «Достоинство знания»: современные методологические проблемы гуманитарной науки в контексте традиции «положительной философии» в России. – *Наука и социальная картина мира. К 80-летию академика В.С. Степина* / Под ред. В.И. Аршинова, И.Т. Касавина. – М.: Альфа-М. – С. 674–686

Пружинин Б.И. 2014б. Знание как ценность (Этюд по культурно-исторической эпистемологии). – *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке*. – № 1. – С. 142–147.

Пружинин Б.И. 2014в. Философия России сегодня: тенденции и перспективы. – *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке*. – № 3. – С. 6–12.

Пружинин Б.И. 2018. Сектор теории познания как тип философского общения, или О роли знания в культуре. – *Вопросы философии*. – № 10. – С. 13–19.

Пружинин Б.И. 2019а. Наука как профессия и как феномен культуры. – *Вопросы философии*. – № 8. – С. 5–9.

Пружинин Б.И. 2019б. Общение как фундаментальная проблема методологии социально-философских исследований. – *Вопросы философии*. – № 1. – С. 51–55.

Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. 2015. Философская проза Николая Трубникова. – *Философия и литература: философия в литературе, литература в философии. Материалы конференции.* – Доступно: http://mirnas.ru/Filosofskaya_proza_Nikolaya_Trubnikova. – Проверено: 04.08.2022.

Современные тенденции... 2018. Современные тенденции развития эпистемологии. Материалы круглого стола / В.А. Лекторский, Н.С. Автономова, Д.И. Дубровский, Ж.К. Загидуллин, Д.В. Иванов, И.Т. Касавин, А.В. Катунин, Н.И. Кузнецова, Г.Д. Левин, С.В. Пирожкова, В.Н. Порус, Б.И. Пружинин, Н.М. Смирнова, Е.О. Труфанова, Е.Л. Черткова, В.П. Филатов. – *Вопросы философии.* – № 10. – С. 31–66.

Топосы философии... 2015. *Топосы философии Наталии Автономовой. К юбилею.* – М.: РОССПЭН.

Философия России... 2014. Философия России первой половины XX века. Конференция – круглый стол / В.А. Лекторский, Л.А. Микешина, А.И. Алешин, В.А. Бажанов, А.А. Ермичёв, В.К. Кантор, Ф. Лесур, Ю.Б. Мелих, С.С. Хоружий, А.В. Черняев, Т.Г. Щедрина, П.Г. Щедровицкий. – *Вопросы философии.* – № 7. – С. 3–38.